

И. Арзамасцева

ПРЕЖДЕ «МЕТАФИЗИКИ ДЕТСТВА»*

Антропологи уверенно себя чувствуют, заводя речь о детстве, только в границах психолого-педагогического знания, при этом не столь важно, какую психологию они исповедуют, сколь важно, какие *дополнительные* основания они выбирают.

Попытки оторваться от психолого-педагогического дискурса, в котором много заимствований из христианской этики, начали предприниматься со второй половины XIX в. Когда Ч. Р. Дарвин предложил взглянуть на предмет чуть ли не глазами Аристотеля¹ и К. Линнея и признать в ребенке существо биологическое², был сделан первый шаг с проторенного пути — в область естествознания и, позже, социологии. Марксисты, фрейдисты, ницшеанцы, символисты предлагали поражающие воображение концепции детства, в которых мифологизирующая мысль пыталась удержаться на грани наукой допустимого понимания. Как ни далек сам по себе дарвинизм от русского трансцендентализма, соединить новую науку о жизни и старую веру в Божественное мироустройство хотели многие. Однако не хватало соединительных элементов, поэтому в ход пошли новейшие данные по истории, этнографии, фольклористике.

К началу XX в. интерес к детству, и практически-социальный, и отвлеченный, возрос небывало. Едва ли не все русские писатели в начале века писали о детстве или для детей. Детство вошло в круг обязательных тем для гуманитариев всех направлений. Постижение Духа и Бытия более невозможно без понимания Ребенка. Была и попытка вывести Ребенка из старого дискурса, увидеть его вне педагогики, психологии, физиологии, даже вне Логоса. Так, в канун нового века Л. Андреев предложил читателям образ мальчика-идиота — дескать, найдите в этакое существе хоть одну богоподобную черту («Жизнь Василия Фивейского»). В критике

* Отклик на ряд статей в журнале «Логос», 2000, № 3.

представлений о детстве можно было дойти до нигилизма. Оставалось продолжать дело Базарова — «резать лягушек».

Детская физиология оказалась самой надежной из материалистических основ для построения антропологии детства, что и позволило оформиться педологии (или педагогической антропологии, как теперь она называется), пережившей взлет, падение и снова взлет³. Отдельное направление разрабатывалось в филологии — языкознании, фольклористике, архаистике, литературоведении⁴.

Есть еще, так сказать, личная антропология детства, базирующаяся на интимной рефлексии, воспоминаниях собственного детства, личном опыте воспитания детей, индивидуальном круге чтения. Психологи первого поколения ввели в обиход привлекать эти субъективизированные источники, однако без серьезной статистики их выводы содержали немалые погрешности, которые шокировали и завораживали дилетантов и приводили в недоумение сторонников Выготского. Тем не менее сами по себе источники не отвергались, и сегодня они используются в антропологии детства⁵.

Из личных источников составлена «метафизика детства» в статьях «“Слова” и “вещи” позднесоветского детства» К. Кобрин, «Неиссякаемый источник» Д. Шушарина, «Размещаясь в неизбежном. Эскиз сталинской метафизику детства» А. Неделя («Логос», № 3, 2000). Там же появившаяся статья С. Ромашко «Детская фотография. О мотивах детства у Вальтера Беньямина» преследует более скромную цель, и, как мне представляется, размер «метафизической» добычи, то есть результата, превышает сухой остаток вышеназванных работ. Изучение мотива детства в творчестве европейского интеллектуала способствует пониманию одного из механизмов выключения ребенка из исторического континуума. Взгляд ребенка в камеру разрывает «нормальное» время, проходит сквозь объектив, не утыкаясь во встречный взгляд — так, во всяком случае, воспринял Беньямин детскую фотографию Кафки в трактовке автора статьи. При этом в «нормальном» времени остаются одежда, студийная декорация и пр.

Так проясняется вопрос, почему история детства, хотя бы какого-нибудь национального детства, никак не может быть толком написана. Так, в России вместо истории детства — богатейшая традиция автобиографической литературы о детстве, то есть история детства у нас пишется из внутренних, субъективно-конкретных предпосылок. К. Кобрин справедливо сомневается в том,

что С. Т. Аксаков придумал «детство» как психо-культурную парадигму; она начала бурно формироваться в эпоху романтизма, прежде всего Антонием Погорельским, написавшим сказку как автобиографическую повесть или автобиографическую повесть как сказку («Черная курица, или Подземные жители»)⁶. Почему именно романтики обратили внимание на трансцендентность детства, говорить нужно отдельно; сейчас важно утвердить принцип в построении «метафизики детства». Какие бы новые подходы и идеи ни исповедовал строитель, ему не обойтись без методологии историзма в духе Веселовского. Здесь нельзя рассчитывать на быстрый результат, потому что слишком мало сделано черной исследовательской работы; слишком мало выверенного аналитического материала, чтобы перейти к окончательному синтезу.

«Детские» отрасли свободных гуманитарных наук непросто отстают. Дело дошло до того, что главный редактор одного из самых серьезных московских издательств уверял меня, что науки о детской литературе не существует; это очевидно и В. Хализеву — он в своем добротном учебнике «Теория литературы» ни разу не употребил словосочетания «детская литература» или «литература для детей»⁷. Детская литература, что бы под этим выражением не понимали, менее заметна в филологических «салонах и гостиных», нежели какой-нибудь постмодернизм, который готов объявить о собственной смерти, так ему надоело быть духовной пищей для критики. Если и «приглашают» детскую литературу в высокий филологический круг, то затем, чтобы посмеяться над Муму и Герасимом, да еще на языке современного литературоведения, которого убогие персонажи не разумеют.

В связи с последним замечанием обращаю внимание всех заинтересованных лиц, что сложившиеся филологические методы и приемы крайне плохо работают при анализе «детских» текстов. Достаточно с четверокурсниками филфака минут десять поговорить о «Курочке Рябе» А. Н. Толстого на языке литанализа, как слышишь что-нибудь вроде: «Эта вещь посильнее “Фауста” Гете будет». Но такой разговор затевается как аттракцион и реклама, на деле же нельзя всерьез использовать общие методики изучения «взрослых» и «детских» объектов, будь то тексты или сами дети.

Ну не смешно ли, что в энциклопедии «Человек» (2000) статьи «Детство» нет, впрочем, как нет статей по остальным возрастам. Вместо этого есть маленькая статья «Возраст», где арифметически выделены возрастные пределы. Так что, детство стоит за скобками

«чистой» антропологии и статью о нем нужно искать в какой-нибудь «Жизни животных»? И вообще, человек ли ребенок? Психоаналитики и мифологи, скорее, ответят «нет»: для них ребенок, тем более младенец, есть объект, лишенный субъектности, потому как Логос еще не стал для него дорогой к Миру, ребенок — собранные колдовских тайн, чудо и чудовище, он что угодно, только не человек в наиболее общепонятном смысле слова. Взятое из классической фольклористики и этнографии понятие о ребенке-колдуне без какой-либо оговорки используется в иных гуманитарных областях — от психоанализа по-русски до философии по-домашнему.

О детстве трудно мыслить отвлеченно, потому что всякий был ребенком и пожизненно остается им в подсознательно-эмоциональном слое собственного «я». Только некоторые ребенка в себе прячут, изживают его (профессиональные «vир-персоны»), а некоторые берегут и пестуют («вечные дети» — детские писатели, актеры, вожатые). Сентенция «актеры — как дети» в сущности верна даже с прибавкой Фаины Раневской — «сукины дети». Отвлеченная мысль при формулировании понятия «детство» непременно сворачивает к родному дому — воспоминаниям о собственном детстве; более стойкие сворачивают чуть позже — к положительно-поучительным примерам из жизни собственных детей, полагая, по-видимому, что ребенок в семье интеллектуала-гуманитария — самый образцовый образец, по которому можно составить понятие детства в целом.

Но детство у всех разное, оно — индивидуальная ценность всякого человека, и нужно еще иметь основания придать ему ценность общую. Иначе зачем нам предлагается узнать, что К. Кобрин, автор некоего текста, родился в роддоме Автозаводского района города Горького тридцать пять лет назад, иначе зачем нам сопереживать ему, потерявшему важное воспоминание о марке первого глотка алкоголя, сделанного в семь лет? В мировой литературе, как и в русской, сравнительно недавно стали писать об общественно-исторической значимости самого обычного детства. Даже Лев Толстой в осудительном тоне писал о Наполеоне, публично выражавшем скорбь перед портретом умершего сына. Что уж говорить о первом мировом опыте публичного представления жизнеописания ребенка: Плиний Младший был крайне возмущен, когда сенатор Регул написал неслыханное в римской литературе сочинение — жизнеописание собственного ребенка — и распорядился читать его по городам Империи. Конечно, Регул — доносчик

и мерзавец, Наполеон — враг и амбициозный диктатор. Однако почему два великих писателя так реагировали на *публичное представление* образа ничем не отличившегося ребенка? Не потому ли, что время признать сверхценность всякого детства для всего общества еще не пришло? Саманта Смит, выполняющая гражданско-политическую миссию, достойна стать героиней повести Яковлева, та же Саманта вряд ли удостоилась бы такой чести, не будь она лицом «историческим». Положение ребенка в отечественной литературе сродни истории Акакия Акакиевича Башмачкина: если ребенок не «исторический человек», не двойник взрослого, потерявшего свое «я», не наглядное пособие для воспитания добродетелей, иными словами, если он тихонько живет и мечтает о какой-нибудь «шинели», то не встретить ему великого Гоголя, который поймет все и полюбит как есть. Кстати, вот странность — Гоголь о детстве не писал, дети в его произведениях изредка выступают в роли статистов. По-видимому, он боялся писать о детях даже в большей степени, нежели о дамах.

Сущность детства гораздо шире возрастной парадигмы. Не будучи само по себе субстанциональным, детство в контексте культуры давным-давно получило статус символа со всеми вытекающими из этого факта бесконечными сложностями. «Детство» — это «мое» или «чужое» настоящее или прошлое, это тоска по потерянному раю. Детство — это маленькая жизнь: есть тайна рождения и дымный хаос до-бытия, есть свободное нисхождение Логоса к человечку и восхождение человечка к Нему, есть диалог человечка с природой и обществом, есть смех, слезы, удивление, ожидание божественных даров, есть болезни и страх смерти, есть грехи и покаяния, есть ожидание конца — каждый ребенок мечтает вырасти. Лучше спросить, чего нет в «маленькой жизни»? — нет чувства истории, чувства ответственности за мировое зло, отношения к труду как к обязанности.

Словом «детство» пользуются при описании каждого, общего и частного, рубежа в истории, при оценке целого ряда событий, стиля поведения, фактов. Важнее всего, что через детство пытаются мыслить всего Человека.

Одна из упрощенных моделей представляет ребенка идеальным взрослым и взрослого идеальным ребенком. На самом деле связь между ними лежит на большей глубине, под идеей «идеального». Это понимали еще в античности. Сфинкс загадал царю Эдипу загадку о Человеке: кто ходит утром на четырех ногах, днем —

на двух, вечером — на трех? Лев Толстой вошел в русскую литературу с тем же вопросом Сфинкса: что есть человек? Начинаящий писатель в поисках ответа разложил жизнь человеческую на «эпохи развития» и описал те из них, которые пережил к тому времени сам: «Детство», «Отрочество», «Юность». В «Детстве» важные вещи начинаются с первой же страницы — убитая муха, халат, шапочка учителя... (тут Толстой и Аксаков мыслят сходным образом), но это все внешняя, знаковая сторона детства. Безотчетная потребность в любви и радость — вот субстанциирующая, по Толстому, идея детства, ошибочно принимаемая обычно за психологические особенности возраста. Любовь и радость тут сами по себе философско-эстетические категории. Недаром повествование, начавшись утром после дня рождения ребенка, заканчивается главой о смерти — не горячо любимой матери, а старой ключницы, которая единственная умела любить совершенно бескорыстно. Любовь, так сказать, химически чистая, без примеси даже материнского, то есть биологически-обязательного, а, значит, все-таки корыстного чувства, — вот что образует основу детства и, тем самым, основу Человека во всех эпохах его развития. А радость для Толстого — уже парадокс. Николенька радуется игрушке, уютно устроенной в постели, скачке верхом по осенним полям и многим другим «превосходным вещам» (это уже выражение А. Н. Толстого, но тоже о детстве). Парадокс состоит в том, что радость скрывает от ребенка противоречия: Николенька воспринимает работающих крестьян как деталь веселого пейзажа. Он видит — и не видит. Так же Пьер слышит выстрел, это расстреляли Платона Каратаева, и... не слышит, не понимает случившегося. Очень важно для Толстого, чего не видит, не слышит, не понимает человек в том или ином возрасте. Это что-то сливается с фоном, различимым до мелких деталей, чтобы когда-нибудь проявиться на контражуре, обозначив точку перехода в иное состояние.

Да простит меня К. Кобрин, но его реальный возраст больше возраста сознания: он признает, что на месте школы в его памяти «жуткая, непроницаемо-черная дыра», позже признается, что в ту же дыру провалился семейный Дом. Не на том ли месте когда-нибудь проступят неразрешимые для автора и по сей день противоречия? А пока школа, семья, дом симпатическими чернилами вписаны в очерк пыльного города, покрыты его провинциальной пылью. Из детства автор ушел с детским же намерением не возвращаться: я сужу об этом по отсутствию толстовской

потребности в любви и радости, однако до зрелости не дошел — не пролилась еще благодать прощения. Слабым оправданием моим в нелицеприятности пусть послужит приглашение автора заглянуть в его автобиографический текст.

Впервые заставил русского читателя поверить в сверхценность всего мельчайшего, что относится к детству, С. Т. Аксаков, наполнивший «Детские годы Багрова-внука» неисчислимым количеством подробностей, он создал первый «музей» детства в русской литературе. Так важно знать и нам, и теперь, что свет падал на детскую постель сквозь редяную занавеску, знать, каким было ощущение в ладони от диких вишен... Эта повесть замышлялась как произведение для детей, но с тем труднейшим условием, чтобы ничего «детского» в ней не было, иначе говоря, Аксаков писал о собственном детстве для детей языком взрослой литературы. Постановка такой художественной сверхзадачи, независимо от возможности ее реализации, уже есть пример взаимного различения «детской» и «не-детской» поэтики.

Жаль, что Пушкин так и не создал «роман о детстве», значившийся в его планах, разве что первую главу «Капитанской дочки» можно прочесть как набросок того замысла. Однако, зная его неспособность повторяться, можно пофантазировать и представить себе произведение, отличное от всех повестей, скорее всего с включением сказочно-мистического плана. Может быть, с образом героя — ангела в пыли («На улице играют в бабки златовласые, замаранные ребятишки»), Амура на салазках («Шалун уж заморозил пальчик, Ему и больно и смешно, А мать грозит ему в окно»), некрещеного духа («Откуда ты, прелестное дитя?»), царя и мудреца («...гимн младенцу бряцал Державин»). Как, интересно, он собирался сочетать подобные эскизные идеи с предложением устранить семью из процесса воспитания в записке, поданной Уварову? Вполне вероятно, что не написанный Пушкиным «роман о детстве» — потеря для отечественной культуры большая, чем сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ».

В истории русской литературы нет очень важного звена, а без него «окультуренное» сознание не может до конца поверить Достоевскому с его «слезинкой» ребенка и доходит в своем недоверии до оправдания детской жертвы — в литературе и действительности. Концепция детства в нашей литературе, научно-отраслевой, философской, художественной, публицистической, еще не разработана до аксиоматической стадии. Потому и мечется общество

от детей Мармеладова к Красным дьяволятам, потому так легко меняются маленькие герои времени — как игрушки в витрине.

Конечно, в школе учили, что процентщица — мерзкая старуха, учителя соглашались с убившим ее студентом, не замечая, что Достоевский с ним не согласен. И вообще, кому судить процентщицу — студентам? учителям? людскому ли суду она предстоит? Разве не она невинно убита, разве студент-мыслитель сделал добра больше, чем она, содержавшая безумную *сестру* — без затей и теорий? Вот уж где Д. Шушарину стоило бы стряхнуть школьный гипноз, а он критикует Достоевского: пошляк-де всем известный.

Когда однажды в обществе назрели настроения, подобные тем, что высказал Д. Шушарин, появился персонаж, из которого слезинки не выжать и которого нельзя попросту пожалеть, — Мальчиш-Кибальчиш. Гайдар допустил детскую жертву ради правого дела, и самое поразительное — российский мир принял гайдаровское разрешение вопроса о «слезинке» Достоевского, принял запросто, надолго, даже в наши дни позабыв вернуться к теме. Приняли все, будто ничего не заметив, со старших групп детских садов — на слух, в начальной школе — вода пальцем по строке. Тексты о слезинке ребенка, запертого в сортире Достоевским, пишут люди, в нежном возрасте не пожалевшие Мальчиша-Кибальчиша. Ребенок, не знавший «Сказки о Военной Тайне...», мог заметить просчет Пушкина в «Сказке о мертвой царевне...» и прорыдать: «А собачку так никто и не поцеловал!» (К. Чуковский, «От двух до пяти»).

Ходила когда-то история об англичанах, не принявших этическую идею рассказа Л. Пантелеева «Честное слово»: по их мнению, маленький герой вел себя неправильно, взрослый же обязан был не старшего по званию искать, а сделать так, чтобы ребенок ни на минуту не остался один в темном парке. Для них слезинка ребенка была явно выше «честного слова», может быть, выше мысли о необходимости ковать крепкую гвардию в канун войны.

По поводу советской школы Д. Шушарину надо бы как-то учесть современные зарубежные оценки ее как одного из лучших достижений того общества. Но, даже если смотреть на нее сквозь темные очки собственных детских обид, которые, кстати, не всегда выражают общий приговор, то справедливости ради нужно признать, что кризис школы как общественного института есть общемировое явление. Все дело в том, что классно-урочная система,

гениальное изобретение Яна Амоса Коменского, была разработана для средневековой модели общества. Несмотря на то, что мы живем в виду последних обломков средневековья, по мнению историка Жака Ле Гоффа, все же ресурс классно-урочной системы на наших глазах исчерпывается. Классно-урочная школа не выдерживает огромного превышения информационной нагрузки, интенсификации учебного процесса, новейших требований воспитывать Личность. Личность мог воспитать и образовать Аристотель в индивидуальном порядке: Александр Македонский — пример его «штучной» работы. Но ныне даже королевская семья не может нанять для воспитания принцев какого-нибудь Нобелевского лауреата и отправляет детей в школу. Кризис школы в XX в. еще не значит обязательное ее падение в XXI-м, однако представлять себе иные модели образования полезно. Полагаю, что компьютерные технологии в их нынешнем состоянии все-таки не сыграют решающей роли, хотя и модернизируют квадратно-гнездовую модель школы.

Примечания

¹ См. «Историю животных» Аристотеля, где нет покрова тайны на зачатии и рождении всех живых существ — от муравья до ребенка.

² См.: Ч. Р. Дарвин «Восприятие эмоций у животных и людей», «Биографический очерк одного ребенка». Пример русского дарвинизма: Ладыгина-Котс Н.Н. Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях. М.: Гос. Дарвиновский музей, 1935. Т. 1–2.

³ См. переиздание учебника 1934 г. крупнейшего русского педолога: Блонский П. П. Педология. М.: Владос, 2000. Современная теория того же направления представлена в работах Б. М. Бим-Бада (например, «Щит и оборона детства», М.: Изд-во УРАО, 1995).

⁴ См. работы русских филологов Г. С. Виноградова, О. И. Капицы, а также работы английского антрополога-фольклориста Э. С. Хартланда — «Легенду о Персее» («The Legend of Perseus», 1894–1896) и «Первобытное отцовство» («Primitive Paternity», 1909). Кстати, не работа ли Хартланда подтолкнула К. И. Чуковского написать для детей «Легенду о Персее» — сегодня классический образец жанра детского переложения мифа. Само название книги английского фольклориста Дж. А. Маккуллоха — «Младенчество вымысла» («The Childhood of fiction», 1905) говорит о направлении мысли. Антропологию детства в аспекте детских игр начал развивать еще Тайлор (статья «История игр» («The History of Games», 1879), ту же тему исследовали французы Л. Б. де Фукьер — «Игры у древних народов» («Les jeux des anciens», 1869) и Э. Фурнье — «История игрушек и детских игр» («Histoire des jouets et des jeux d'enfants», 1889), англичанка А. Б. Гомм написала «Традиционные игры английских детей», 1894–1897, немец Ф. Магнус Бёме — «Немецкие детские песни и игры» («Deutsches Kinderlied. und Kinderspiel», 1897), швед И. Хирн — «Детские игры» («Barnlek», 1916).

⁵ См. например, работы К. П. Королевой «Семейное воспитание и школа в России в мемуарной и художественной литературе», М.: Капитал и культура, 1994; О. Е. Кошелевой «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи Просвещения

(XVI–XVIII вв.), М.: Изд-во Ун-та РАО, 2000; ее же «“История детства” как способ реконструкции и интерпретации истории воспитания и обучения в зарубежной историографии» — в кн.: Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография / Под ред. Г. Б. Корнето-ва, В. Г. Безрогова. М.: ИТОП, 1996. 196б; учебное пособие по педагогической антропологии «Природа ребенка в зеркале автобиографии» под ред. Б. М. Бим-Бада и О. Е. Кошелевой, М.: УРАО, 1998; также последнее обобщение многочисленных филологических исследований автобиографической прозы в докторской диссертации Т. М. Колядич «Воспоминания писателей XX в. (Проблематика, поэтика)», М., 1999.

⁶ Этапность повести-сказки легко оценить, если вспомнить Алешу (Константиновича) Толстого, которому она была адресована, Льва Николаевича Толстого, который назвал ее одной из первых в списке книг, оказавших на него наибольшее влияние (а он был очень строгий критик), наконец, Алексея Николаевича Толстого — его диалог с Погорельским-мистиком в «Детстве Никиты».